

Редьярд Киплинг

Индийские рассказы (сборник)



Редьярд Киплинг

Индийские рассказы (сборник)

«Public Domain»

1891

Киплинг Р. Д.

Индийские рассказы (сборник) / Р. Д. Киплинг — «Public Domain», 1891

«...Контракт был подписан легкомысленно; но ещё раньше, чем девушка достигла полного расцвета, она наполнила собой большую часть жизни Джона Хольдена. Для неё и для старой ведьмы – её матери – он снял маленький дом, из которого открывался вид на обнесённый красными стенами город. Когда ноготки зацвели у фонтана во дворе, когда Амира устроилась сообразно своим понятиям о комфорте, а её мать перестала ворчать на неудобства кухни, на дальность расстояния от рынка и вообще на разные домашние дела – он сделал открытие, что этот дом стал для него родным. Каждый мог и днём, и ночью войти в его бунгало холостяка, и жизнь, которую он вёл там, имела мало прелести...»

© Киплинг Р. Д., 1891

© Public Domain, 1891

Содержание

Без благословения церкви	5
Возвращение Имрея	19
Финансы богов	26
Мятежник Моти Гудж	29
Город страшной ночи	33
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Редьярд Джозеф Киплинг

Индийские рассказы

Без благословения церкви

I

– А если будет девочка?

– Господь милосерден, этого не может быть! Я так много молилась по ночам и так часто посылала дары на алтарь шейха Бадля, что знаю – Бог даст нам сына, ребёнка мужского пола, который станет мужчиной. Думай об этом и радуйся. Моя мать будет его матерью до тех пор, пока ко мне не вернутся силы; а мулла патанской мечети составит его гороскоп – дай Бог, чтобы он родился в счастливый час! – и тогда, тогда тебе никогда не надоеет твоя раба!

– С каких пор ты стала рабой, моя царица?

– С самого начала – пока милость не снизошла на меня. Как могла я быть уверенной в твоей любви, зная, что куплена за деньги?

– Это был обычный выкуп. Я заплатил его твоей матери.

– А она спрятала его и сидит на нем целыми днями, словно насадка. Что разговаривать о выкупе! Я была куплена, словно танцовщица из Лукнова, а не ребёнок.

– И ты жалеешь об этом?

– Жалела; но сегодня я рада. Теперь ты никогда не перестанешь любить меня? Отвечай, царь мой.

– Никогда... Никогда!

– Даже если мем-лог – белые женщины твоей крови – полюбят тебя? И помни, я видела их, когда они катаются по вечерам; они очень красивы.

– Я видел воздушные шары, сотни воздушных шаров. Я увидел луну и – потом не видел более воздушных шаров.

Амира захлопала в ладоши и рассмеялась.

– Очень хорошие слова, – сказала она. Потом, приняв величественный вид, прибавила: – Довольно. Разрешаю тебе уйти – если желаешь.

Он не двинулся с места. Она сидела на низкой красной лакированной кушетке в комнате, все убранство которой состояло из синей с белым клеёнки на полу, нескольких ковров и целого собрания туземных подушек. У его ног сидела шестнадцатилетняя женщина, заключавшая в себе – в его глазах – весь мир. По всем законам и правилам этого не должно было бы быть, так как он был англичанин, а она – дочь мусульманина, купленная два года тому назад у её матери, которая, оставшись после мужа без денег, продала бы рыдавшую Амиру хоть самому черту, дай он подходящую цену.

Контракт был подписан легкомысленно; но ещё раньше, чем девушка достигла полного расцвета, она наполнила собой большую часть жизни Джона Хольдена. Для неё и для старой ведьмы – её матери – он снял маленький дом, из которого открывался вид на обнесённый красными стенами город. Когда ноготки зацвели у фонтана во дворе, когда Амира устроилась сообразно своим понятиям о комфорте, а её мать перестала ворчать на неудобства кухни, на дальность расстояния от рынка и вообще на разные домашние дела – он сделал открытие, что этот дом стал для него родным. Каждый мог и днём, и ночью войти в его бунгало холостяка, и жизнь, которую он вёл там, имела мало прелести. В городском же доме только он один мог войти с наружного двора в комнаты женщин; когда большие деревянные ворота захлопывались

за ним, он становился царём на своей территории, а Амира – царицей. И в этом царстве должно было прибавиться третье существо, появлением которого Хольден не был доволен. Оно мешало полноте его счастья. Оно нарушало мирный покой и порядок его дома... Но Амира и её мать были вне себя от восторга при мысли о ребёнке. Любовь мужчины, особенно белого, вообще неустойчива, но его можно – так рассуждали обе женщины – удержать детскими ручками.

– И тогда, – постоянно говорила Амира, – он не будет больше думать о мем-лог. Я ненавижу всех их, я ненавижу всех их!

– Со временем он вернётся к своему народу, – говорила мать, – но, благодарение Богу, время это ещё далеко.

Хольден сидел на кушетке, размышляя о будущем, и мысли его не были приятны. В жизни вдвоём есть много неудобств. Правительство, по странной заботливости, отсылало его на две недели из места его стоянки по специальному делу вместо другого служащего, который находился у ложа больной жены. Устное сообщение о замене сопровождалось шутливым замечанием, что Хольден должен считать счастьем, что он холостяк и свободный человек. Он пришёл сообщить Амире эту новость.

– Это не хорошо, – медленно проговорила она, – но и не совсем дурно. Моя мать здесь, и со мной не может случиться ничего дурного, если я только не умру от радости. Отправляйся по своему делу и не предавайся тревожным мыслям. Когда пройдут эти дни, я думаю... нет, уверена!.. И... и тогда я положу его тебе на руки, и ты будешь вечно любить меня. Поезд уходит сегодня ночью, не так ли? Ступай и не отягчай своего сердца из-за меня. Но ты не замедлишь вернуться? Ты не остановишься по дороге, чтобы поговорить со смелыми мем-лог? Возвращайся ко мне скорее, жизнь моя!

Проходя через двор, чтобы сесть на привязанную у ворот лошадь, Хольден заговорил с седым старым сторожем. Он приказал ему в случае необходимости послать телеграмму и оставил заполненный телеграфный бланк. Сделав все, что можно было сделать, с чувством человека, присутствовавшего на своих собственных похоронах, Хольден ночным поездом отправился в изгнание. Днём он ежечасно боялся, что получит телеграмму, а по ночам постоянно представлял себе смерть Амиры. Вследствие этого свои служебные обязанности он выполнял отнюдь не безупречно, а его отношение к товарищам было не особенно любезным. Две недели прошли без известий из дома, и Хольден, раздираемый тревогой, вернулся, чтобы потерять два драгоценных часа на обед в клубе, где он слышал, как слышит человек в обморочном состоянии, чьи-то голоса, говорившие ему, как отвратительно исполнял он свои временные обязанности, что о нем говорят все, кто имел с ним дело. Потом он летел верхом всю ночь с тревогой в сердце. На первые его удары в ворота ответа не было, и он повернул было лошадь, чтобы вернуться в них, как появился Пир Хан и придержал ему стремя.

– Случилось что-нибудь? – спросил Хольден.

– Новости не должны исходить из моих уст, покровитель бедных, но... – Он протянул дрожащую руку, как приличествовало человеку, приносящему хорошую весть, за которую он должен получить награду. Хольден поспешно прошёл через двор. В верхней комнате горел огонь. Лошадь его заржала у ворот, и он услышал пронзительный, жалобный крик, от которого точно комок подкатил к его горлу. Это был новый голос, но он не служил доказательством, что Амира жива.

– Кто там? – крикнул он снизу узкой кирпичной лестницы.

Послышалось восторженное восклицание Амиры и потом голос матери, дрожавший от старости и гордости:

– Мы, две женщины, и мужчина – твой сын.

На пороге комнаты Хольден наступил на вынутый из ножен кинжал, положенный для того, чтобы отогнать несчастье. Рукоятка кинжала сломалась под его нетерпеливым каблуком.

– Бог велик! – в полутьме проворковала Амира. – Ты взял его несчастье на свою голову.

– Да, ну а как ты, жизнь моей жизни? Старуха, как она?

– Она забыла о своих страданиях от радости, что родился ребёнок. Дурного ничего нет; но говори тихо, – сказала мать.

– Нужно было только твоё присутствие, чтобы мне стало совсем хорошо, – сказала Амира. – Царь мой, ты очень долго не был здесь. Какие подарки привёз ты мне? А-а! На этот раз я приношу подарки. Взгляни, жизнь моя, взгляни! Был ли когда-нибудь на свете такой ребёнок? Я слишком слаба даже для того, чтобы взять его на руки.

– Лежи спокойно и не разговаривай. Я здесь, бечари.¹

– Хорошо сказано; теперь между нами есть связь, которую ничто не может нарушить. Посмотри – можешь ты видеть при этом свете? Он без малейшего пятнышка, без малейшего недостатка. Никогда не было такого ребёнка мужского пола. Ийе иллех! Он будет учёный человек, пандит, – нет, солдатом королевы. А ты, моя жизнь, по-прежнему любишь меня, хотя я слаба, худа и больна? Отвечай правду.

– Да. Я люблю, как любил – всей душой. Лежи тихо, жемчужина моя, и отдыхай.

– Тогда не уходи. Сиди вот здесь, рядом со мной, вот так. Мать, господину этого дома нужна подушка. Принеси её. – Со стороны нового существа, явившегося в жизнь, которое лежало на руках у Амиры, почувствовалось еле заметное движение. – Аго! – сказала она прерывающимся от любви голосом. – Мальчик – боец с самого рождения. Он ударяет меня в бок могучими ударами. Ну, был ли когда-нибудь такой ребёнок! И он наш – твой и мой. Положи руку на его голову, но осторожно, потому что он очень мал, а мужчины неловки в таких делах.

Очень осторожно, кончиками пальцев, дотронулся Хольден до покрытой пухом головки.

– Он нашей веры, – сказала Амира, – лёжа здесь в ночные бодрствования, я шептала ему на ухо призыв к молитве и исповедание веры. И самое удивительное, что он родился в пятницу, как я. Будь осторожнее с ним, жизнь моя; однако он уже может хвататься ручками.

Хольден держал беспомощную ручку, которая слабо ухватила за его палец. И от этого прикосновения что-то пробежало по его телу и остановилось в сердце. До тех пор все мысли Хольдена принадлежали Амуре. Теперь он начал понимать, что на свете есть ещё кто-то, но не мог представить себе, что это действительно его сын, одарённый душой. Он сел и задумался Амира слегка дремала.

– Уходи, сахиб, – сказала шёпотом её мать. – Не хорошо, если она увидит тебя, когда проснётся. Ей нужен покой.

– Я ухожу, – покорно сказал Хольден. – Вот рупии. Присматривай за моим баба, чтобы он стал толстым и чтобы у него было все необходимое.

Звяканье серебра разбудило Амиру.

– Я – его мать, а не наемщица, – слабо проговорила она. – Неужели я буду больше или меньше присматривать за ним из-за денег! Мать, отдай их назад. Я дала моему господину сына.

Глубокий сон – следствие слабости – овладел ею, едва она успела окончить фразу. Хольден тихонько спустился во двор с облегчённым сердцем. Пир Хан, старый сторож, смеялся от восторга.

– Теперь дом полон, – сказал он и без дальнейших объяснений сунул в руки Хольдена эфес сабли, которую он, Пир Хан, носил давным-давно, когда служил в королевской полиции. Со стороны фонтана доносилось блеяние привязанной козы.

– Там их две, – сказал Пир Хан, – две из самых лучших коз. Я купил их, и они стоили много денег; так как нет гостей, то их мясо будет все принадлежать мне. Ударяй сильнее, сахиб! Это плохо уравновешенная сабля. Погоди, пока они подымут головы и перестанут щипать ноготки.

– Зачем все это? – спросил удивлённый Хольден.

¹ Бечари – маленькая женщина.

– Это жертва по случаю рождения. Как к чему? Иначе ребёнок, не хранимый судьбой, может умереть. Покровитель бедных знает слова, которые надо произнести.

Хольден выучил их однажды, не думая, что когда-нибудь станет произносить серьёзно. Прикосновение холодного эфеса сабли к его руке внезапно изменилось в ласковое пожатие ручки дитяти наверху – ребёнка, который был его сыном, – и боязнь потери охватила его сердце.

– Бей! – сказал Пир Хан. – Никогда на свете не появится новая жизнь без того, чтобы не быть оплаченной другой. Взгляни, козы подняли головы. Теперь ударяй!

Почти бессознательно Хольден ударил дважды, бормоча следующую магометанскую молитву:

– Всемогуший. Вместо этого моего сына я возношу Тебе жизнь за жизнь, кровь за кровь, голову за голову, кость за кость, волосы за волосы, кожу за кожу!

Стоявшая в отдалении лошадь зафыркала и дёрнулась на привязи, почуяв запах свежей крови, обрызгавшей сапоги Хольдена.

– Хороший удар! – сказал Пир Хан, вытирая саблю. – В тебе потерял хороший воин. Иди с облегчённым сердцем, небесно-рождённый. Я твой слуга и слуга твоего сына. Да живёт господин тысячу лет, а... все мясо коз принадлежит мне?

Пир Хан ушёл, разбогатев на месячное жалованье. Хольден вскочил в седло и помчался сквозь вечерний туман, спустившийся на землю. Он был полон буйного возбуждения, сменявшегося неясным чувством нежности, не относившейся ни к какому определённом предмету. Он задыхался от нежности, склоняясь к шее своей беспокойной лошади. «Я никогда в жизни не чувствовал ничего подобного, – думал он. – Поеду в клуб и возьму себя в руки».

Начиналась партия на бильярде; комната была полна людей. Хольден вошёл, радуясь свету и обществу, громко распевая: «Гуляя в Балтиморе, я встретил даму».

– В самом деле? – спросил секретарь клуба из своего угла. – А не сказала она вам, что у вас сапоги совершенно мокры? Господи, Боже мой, это кровь!

– Чепуха! – сказал Хольден, беря свой кий. – Можно мне присоединиться? Это роса. Я ехал по полю. Однако! Хороши, действительно, мои сапоги!

Будет у нас девочка – мы её обручим,
А мальчика служить во флот мы отдадим,
И будет он, в курточке синей, при кортике остром,
По шканцам отважно ходить.

– Жёлтый, голубой; следующим играет зелёный, – монотонно объявил маркёр.

– «По шканцам отважно ходить...» Я зелёный, маркёр? «Как хаживал папа когда-то...» Эге! плохой удар.

– Не вижу, с чего вам радоваться, – резко проговорил ревностный молодой чиновник. – Правительство не особенно довольно вашей работой за то время, что вы заменяли Сандерса.

– Это что же? Выговор из главной квартиры? – сказал Хольден с рассеянной улыбкой. – Я думаю, что в состоянии вынести это.

Разговор вертелся вокруг всегда нового предмета – работы каждого из присутствующих, – и Хольден успокоился, пока не настало время отправиться в тёмное, пустое бунгало, где дворецкий встретил его, как человек, знающий все дела своего господина. Хольден не спал большую часть ночи, но сны его были приятны.

II

– Сколько ему теперь времени?

– Ийа иллах!.. Вот вопрос мужчины! Ему только шесть недель. Сегодня ночью я выйду с тобой на крышу дома, моя жизнь, считать звезды. Потому что это приносит счастье. А родился он в пятницу, под знаком Солнца, и мне сказали, что он переживёт нас обоих и будет счастлив. Можем ли мы желать чего-либо лучшего, возлюбленный?

– Нет ничего лучшего. Пойдём на крышу, и ты будешь считать звезды – только немного насчитаешь их, потому что небо покрыто тучами.

– Зимой дожди бывают позднее, но случаются и не в срок. Пойдём раньше, чем скроются все звезды. Я надела мои лучшие уборы.

– Ты забыла лучший из них.

– Ах, да!.. Наш убор!.. Он также пойдёт. Он ещё не видал небес.

Амира взобралась по узкой лестнице, которая вела на плоскую крышу. Ребёнок спокойно, не мигая, лежал у неё на правой руке, разряженный в кисею с серебряной бахромой, с маленькой шапочкой на голове. Амира надела все, что у неё было самого ценного. Бриллиант в носу заменял нашу европейскую мушку, обращая внимание на изгиб ноздрей; золотое украшение с изумрудными подвесками и рубинами с трещинами красовалось на лбу; тяжёлое ожерелье из чистого чеканного золота нежно охватывало её шею, а звенящие серебряные браслеты на ногах спускались на розовую лодыжку. Она была одета в зеленую кисею, как надлежало дочери правоверного; от плеча к локтю и от локтя к кисти руки спускались серебряные цепочки из колечек, нанизанных на розовые шелковинки; хрупкие хрустальные браслеты спадали с запястья, подчёркивая тонкость руки; тяжёлые золотые браслеты с искусными застёжками, не принадлежавшие к местным украшениям, были даром Хольдена, а потому приводили Амиру в полный восторг.

Они уселись на белом низком парапете крыши, откуда был виден город с его огнями.

– Они счастливы там, – сказала Амира. – Но не думаю, чтобы были так счастливы, как мы. Не думаю, чтобы и мем-лог бывали так счастливы. А ты как думаешь?

– Я знаю, что они не так счастливы.

– Откуда ты это знаешь?

– Они отдают своих детей кормилицам.

– Я никогда не видала этого, – со вздохом проговорила Амира, – и не желаю видеть. Аи! – она опустила голову на плечо Хольдена, – я насчитала сорок звёзд и устала. Взгляни на ребёнка, любовь моей жизни, он также считает.

Ребёнок круглыми глазами пристально смотрел на тьму небес. Амира положила его на руки Хольдена; он лежал совсем тихо, спокойно, не плакал.

– Как будем мы звать его между собой? – сказала она. – Взгляни! Надоедает тебе когда-нибудь смотреть на него? У него совершенно твои глаза. Но рот...

– Твой, моя дорогая. Кому это знать, как не мне.

– Это такой слабый рот. И такой маленький. А между тем он держит моё сердце своими губами. Дай его мне. Он слишком долго не был у меня.

– Нет, дай ему полежать у меня; он ещё не заплакал.

– Когда он заплачет, ты отдашь его – да? Ты настоящий мужчина! Если бы он заплакал, то стал бы ещё дороже мне. Но, жизнь моя, какое же мы дадим ему имя?

Маленькое тельце лежало у сердца Хольдена. Оно было вполне беспомощно и очень мягко. Он едва дышал из боязни раздавить его. Зелёный попугай в клетке, на которого в большинстве туземных семей смотрят как на духа-охранителя, задвигался на своём месте и сонно шевельнул крылом.

– Вот ответ, – сказал Хольден. – Миан Митту произнёс его. Он будет попугаем. Когда он вырастет, он будет много говорить и бегать. Миан Митту значит ведь попугай на твоём – на мусульманском языке, не так ли?

– Зачем так отделять меня, – раздражительно проговорила Амира. – Пусть это будет что-нибудь похожее на английское имя, но не совсем. Потому что он и мой.

– Ну, так зови его Тота; это более всего похоже на английское имя.

– Да, Тота, но это все же попугай. Прости меня, господин мой, за то, что было минуту тому назад, но, право, он слишком мал, чтобы нести всю тяжесть имени Миан Митту. Он будет Тота – наш Тота. – Она дотронулась до щеки ребёнка; он проснулся и запищал; пришлось Хольдену отдать его матери, которая успокоила его удивительной песенкой:

Аре коко! Джаре коко!
Мой бэби крепко спит,
А в джунглях спеют сливы по пенни целый фунт,
Лишь пенни целый фунт, баба, по пенни целый фунт...

Успокоенный многократным упоминанием о цене слив, Тота прижался к матери и заснул. Два гладких белых бычка во дворе усердно жевали свой ужин. Пир Хан сидел на корточках перед лошастью Хольдена, положив на колени свою полицейскую саблю, и с сонным видом двигал рукоять водяного насоса. Мать Амиры сидела за прялкой на нижней веранде; деревянные ворота были закрыты засовами. Звуки музыки проходившей мимо свадебной процессии доносились до крыши, господствуя над тихим журчанием города; набегавшие облака по временам закрывали лик луны.

– Я молилась, – после долгого молчания проговорила Амира, – я молилась, во-первых, чтобы я могла умереть вместо тебя, если потребуется твоя смерть; а во-вторых, чтобы я могла умереть вместо нашего ребёнка. Я молилась Пророку и Биби Мириам.² Как ты думаешь, услышит кто-нибудь из них мою молитву?

– Из твоих уст кто бы не услышал самого пустого слова?..

– Я просила прямого ответа, а ты дал мне сладкие слова. Будут услышаны мои молитвы?

– Как я могу сказать? Бог очень добр.

– Я не уверена в этом. Выслушай меня. Когда умру я, или ребёнок, какова будет твоя судьба? Ты вернёшься к смелым мем-лог, потому что голос крови силен.

– Не всегда.

– У женщин – да; мужчины – дело другое. Позже, в этой жизни, ты вернёшься к своему народу. Это я, пожалуй, могла бы вынести, потому что буду мертва. Но даже после смерти ты будешь взят в чужое место и в незнакомый для меня рай.

– Будет ли это рай?

– Наверное! Кто же может обидеть тебя? Но мы – я и ребёнок – будем в другом месте и не сможем прийти к тебе, как и ты к нам. В прежнее время, когда ребёнок ещё не родился, я не думала об этом, а теперь постоянно думаю. Это очень тяжело говорить.

– Будь что будет. Завтрашнего дня мы не знаем; но хорошо знаем сегодняшний и нашу любовь! Ведь мы же счастливы теперь.

– Так счастливы, что хорошо бы сохранить это счастье. Твоя Биби Мириам должна бы слышать меня; ведь она тоже женщина. Но, впрочем, она будет завидовать мне! Неприлично мужчинам поклоняться женщине.

Хольден громко рассмеялся при этой ревливой выходке Амиры.

– Неприлично? Так отчего же ты не отучишь меня от поклонения тебе?

– Ты поклоняешься?! И мне? Царь мой, несмотря на все твои сладкие слова, я отлично знаю, что я твоя слуга и рабыня, прах под твоими ногами. Да я и не хотела бы, чтобы было иначе. Смотри. – Прежде чем Хольден успел удержать её, она наклонилась и дотронулась до

² **Биби Мириам** – Дева Мария, которая в мусульманской традиции почитается как мать пророка Исы, т. е. Иисуса Христа.

его ног; потом она поднялась с лёгким смехом, крепче прижала Тота к груди и проговорила почти яростно: – Правда ли, что смелые мем-лог живут втрое дольше, чем мы? Правда ли, что они заключают браки только тогда, когда становятся старухами?

– Они выходят замуж, как и другие женщины.

– Я знаю это, но они выходят замуж, когда им исполняется двадцать пять лет. Правда ли это?

– Правда.

– Ийа иллах! В двадцать пять! Кто женится, по своей воле, даже на восемнадцатилетней? Ведь это женщина, стареющая с каждым часом. Двадцать пять! В эти годы я буду старухой. И... Эти мем-лог остаются вечно молодыми!.. Как я ненавижу их!

– Какое отношение имеют они к нам?

– Я не могу сказать. Знаю только, что на земле теперь, может быть, живёт женщина на десять лет старше меня, которая может прийти и взять твою любовь через десять лет, когда я буду старуха, седая, нянька сына Тота. Это несправедливо и нехорошо. Они должны также умирать.

– Ну, несмотря на свою старость, ты все же ребёнок, которого следует поднять и снести вниз по лестнице.

– Тота! Подумай о Тота, господин мой! Ты не умнее любого ребёнка!

Хольден подхватил Амиру на руки и понёс её, смеющуюся, вниз по лестнице; а Тота, которого мать подняла предусмотрительно повыше, открыл глаза и улыбнулся, как улыбаются ангелы.

Он был тихий ребёнок. Раньше, чем Хольден ясно осознал, что он существует на свете, мальчик превратился в маленького золотистого божка и неоспоримого деспота в доме. То были месяцы полного счастья для Хольдена и Амиры – счастья, удалённого от света, скрытого за деревянными воротами, у которых сторожил Пир Хан. По утрам Хольден исполнял свою работу с громадным сожалением к тем, кто не был так счастлив, как он: его симпатии к маленьким детям удивляли и забавляли многих матерей, присутствовавших на местных собраниях. При наступлении вечера он возвращался к Амуре, Амуре, полной удивительных рассказов о том, что делал Тота: как он складывал ручки и двигал пальцами, вероятно, с обдуманым намерением, что было очевидным чудом; как потом он, по собственной инициативе, выполз из своей низкой кровати на пол и, шатаясь, прошёл обеими ножками три шага.

– А сердце у меня на минуту перестало биться от восторга, – говорила Амира.

Потом Тота привлёк животных к участию в своих занятиях – телят, маленькую серую белку и, в особенности, Миан Митту, попугая, которого больно тянул за хвост. Миан Митту кричал, пока не подходили Амира или Хольден.

– О негодник! Дитя насилия! Так-то ты обращаешься со своим братом на крыше! Тобах, тобах! Фуй, фуй. Но я знаю чары, чтобы сделать тебя таким же мудрым, как Сулейман и Афлатун.³ Смотри, – сказала Амира. Она вынула из вышитого мешка пригоршню миндаля. – Смотри! Считаем до семи! Во имя Божие!..

Она посадила Миан Митту, очень рассерженного и нахохлившегося, на клетку и, усевшись между ребёнком и птицей, разгрызла и очистила миндалину менее белой, чем её зубы.

– Это истинные чары, жизнь моя; не смейся. Смотри: я даю одну половину попугаю, а другую Тота. – Миан Митту осторожно взял клювом свою часть с губ Амиры; другую она, с поцелуями, вложила в рот ребёнку, который медленно съел миндалину, смотря изумлёнными глазами. – Так я буду делать в продолжение семи дней, и, без сомнения, он будет смелым, красноречивым и мудрым. Эй, Тота, кем ты будешь, когда станешь мужчиной, а я буду седая?

³ Сулейман и Афлатун – арабская форма имён царя Соломона и Платона.

Тота подобрал свои ножки с очаровательными ямочками. Он мог ползать, но не желал тратить весну своей юности на бесполезные разговоры. Ему хотелось ущипнуть Миан Митту за хвост.

Когда он подрос и удостоился чести надеть серебряный пояс, – который, вместе с волшебным заклинанием, выгравированным на серебре и висевшим у него на шее, составлял большую часть его одеяния, – он, спотыкаясь, отправился в опасное путешествие по саду к Пир Хану и предложил ему все свои драгоценности взамен езды на лошади Хольдена, пока мать его матери болтала на веранде с бродячими торговцами. Пир Хан заплакал, поставил неопытные ноги на свою седую голову в знак преданности и принёс храброго искателя приключений в объятия его матери, клянясь, что Тота будет вождём людей раньше, чем у него вырастет борода.

В один жаркий вечер он сидел на крыше между отцом и матерью и смотрел на бесконечную войну между воздушными змеями, которых пускали городские мальчишки. Он попросил, чтобы ему дали также змея и чтобы Пир Хан пускал его, потому что он боялся иметь дело с предметами, размеры которых были больше его самого. Когда Хольден назвал его франтом, он встал и медленно произнёс в защиту своей только что осознанной индивидуальности:

– Я не франт, а мужчина.

Этот протест чуть было не заставил Хольдена задохнуться от смеха, и он решил серьёзно подумать о будущем Тота. Ему не пришлось тревожиться об этом. Эта восхитительная жизнь была слишком хороша, чтобы продолжаться. Поэтому она была отнята, как многое отымается в Индии, – внезапно и без предупреждения. Маленький господин, как называл его Пир Хан, стал грустен и начал жаловаться на боли – он, никогда не имевший понятия о боли. Амира, обезумевшая от страха, не смыкала глаз у его постели всю ночь, а на рассвете второго дня жизнь его была отнята лихорадкой – обычной осенней лихорадкой. Казалось невозможным, чтобы он мог умереть, и сначала ни Амира, ни Хольден не верили, что на кровати лежит маленький труп. Потом Амира стала биться головой о стену и бросилась бы в водоём в саду, если бы Хольден силой не удержал её.

Милость была ниспослана Хольдену. Днём он приехал в свою канцелярию и нашёл необычайно большую корреспонденцию, требовавшую сосредоточенного внимания и большой работы. Впрочем, он не сознавал этой милости богов.

III

Первое ощущение при ранении пулей кажется сильным щипком. Пострадавшее тело посылает свой протест душе только через десять или пятнадцать секунд. Хольден так же медленно осознал своё горе, как раньше счастье, и испытывал ту же властную необходимость скрывать всякое проявление его. Вначале он чувствовал только, что была какая-то утрата и что Амира нуждается в утешении, когда сидит, опустив голову на колени, вздрагивая всякий раз, как Миан Митту кричит с крыши: «Тота! Тота! Тота!» Впоследствии все в окружавшем его мире и в повседневной жизни словно поднялось на него, чтобы причинять ему боль. Ему казалось оскорблением, что любой из детей, стоявших вечером вокруг оркестра, жив и весел, тогда как его ребёнок лежит мёртвый. Ещё более бывало ему, когда кто-нибудь из них дотрагивался до него, а рассказы нежных отцов о последних подвигах их детей уязвляли его до глубины души. Он не мог рассказывать о своём горе. У него не было ни помощи, ни утешения, ни сочувствия; а в конце каждого тяжёлого дня Амира заставляла его проходить через тот ад делаемых себе упрёков, на который осуждены те, кто потерял ребёнка и кто верит, что, если бы было немного, хоть немного больше заботливости, он мог бы быть спасён.

– Может быть, – говорила Амира, – я не обращала достаточно внимания на него. Так ли это? Солнце было на крыше в тот день, когда он так долго играл один, а я – аи! – заплетала волосы; может быть, это солнце вызвало лихорадку. Если бы я уберегла его от солнца, он мог

бы жить. Но, жизнь моя, скажи, что я невиновна! Ты знаешь, что я любила его, как мою жизнь. Скажи, что на мне нет вины или я умру... я умру.

– Нет вины – как перед Богом говорю – никакой. Так было предначертано, и что мы могли сделать, чтобы спасти его? Что было, то было! Брось это, возлюбленная.

– Для меня он был всем, моё сердце. Как могу я бросить эти мысли, когда моя рука каждую ночь говорит, что его нет тут. Аи! Аи! О, Тота, вернись ко мне, – вернись и будем по-прежнему все вместе!

– Тише, тише! Ради себя самой, а также ради меня, если любишь меня, – успокойся!

– Я вижу, что тебе все равно; да и как могло быть иначе? У белых людей каменные сердца и железные души. О, если бы я вышла замуж за человека из моего народа – хотя бы он бил меня – и никогда не ела чужого хлеба!

– Разве я чужой тебе, мать моего сына?

– А как же иначе, сахиб?.. О, прости меня, прости! Эта смерть свела меня с ума. Ты жизнь моего сердца, и свет моих очей, и дыхание моей жизни, и... а я отстранила тебя от себя, хотя это было только на одно мгновение. Если ты уйдёшь, у кого я буду искать помощи? Не сердись! Право, это говорило страдание, а не твоя рабыня.

– Я знаю, я знаю. Теперь нас двое вместо трех. Тем необходимее нам быть заодно.

По обыкновению, они сидели на крыше. Была жаркая ночь ранней весны; молния танцевала на горизонте под отрывистую музыку отдалённого грома. Амира угнездилась в объятиях Хольдена.

– Сухая земля ревёт о дожде, словно корова, а я... я боюсь. Не так было, когда мы считали звезды. Но ты любишь меня так же, как прежде, хотя то, что связывало нас, и взято от нас? Отвечай.

– Я люблю ещё больше потому, что новая связь возникла – связь печали, которую мы перенесли вместе. И ты знаешь это.

– Да, я знала, – прошептала Амира очень тихо. – Но приятно слышать, когда ты говоришь это, жизнь моя, ты, такой мужественный. Я больше не буду ребёнком, а женщиной и помощницей тебе. Послушай. Дай мне мою ситар, и я спою.

Она взяла лёгкую, украшенную серебром ситар и начала песнь о великом герое радже Расалу. Рука остановилась на струнах, песня прервалась и на низкой ноте перешла в жалкий детский стишок: «А в джунглях спеют сливы – по пенни целый фунт. Лишь пенни целый фунт, баба!...»

Потом пошли слезы и жалобное возмущение против судьбы, пока Амира не уснула. Во сне она слегка стонала и вытянула правую руку, как будто охраняя то, чего не было около неё. После этой ночи жизнь стала несколько легче для Хольдена. Вечно ощущаемая боль потери заставляла его стремиться к работе, которая отплачивала ему тем, что занимала его ум по девяти-десяти часов в день. Амира сидела в доме одна и грустила, но стала счастливее, по обычаю женщин, когда поняла, что Хольден несколько успокоился! Они снова испытали счастье, но на этот раз с оглядкой.

– Тота умер, потому что мы его слишком любили. Тут была зависть Бога к нам, – говорила Амира. – Я повесила большой чёрный кувшин перед нашим окном от дурного глаза, и нам не следует выражать восторга, но тихо идти под звёздами, чтобы Бог не нашёл нас.

С тех пор они все время говорили: «Это ничего, это ничего», надеясь, что все силы неба слышат эти слова.

Силы были заняты другими вопросами. Они дали тридцати миллионам людей четыре года изобилия, люди хорошо питались; урожаи были обеспечены, и рождаемость возрастала из года в год; из округов доносили, что на квадратную милю отягощённой земли приходится от девятисот до двух тысяч земледельческого населения; а член парламента от Нижнего Тутинга, разгуливавший по Индии в цилиндре и во фраке, распространялся о благодеяниях британского

управления и предлагал, как единственно необходимое, введение правильной избирательной системы и раздачу привилегий. Его многострадальные хозяева улыбались и приветствовали его, а когда он остановился перед деревом дхак и в красиво подобранных выражениях высказал, что его красные, как кровь, цветы, расцветшие не вовремя, служат признаком грядущих благ, они улыбались более, чем когда-либо.

Однажды Хольден услышал в клубе беспечный рассказ депутата-комиссионера из Кот-Кумхарсена, от которого кровь похолодела в его жилах.

– Больше он никому не будет надоедать. Никогда не видал такого удивлённого человека. Клянусь Юпитером, я думал, что он сделает запрос в палате общин по этому поводу. Пассажира на его пароходе, обедавшего рядом с ним, схватила холера, и он умер через восемнадцать часов. Нечего смеяться, братцы. Член от Нижнего Тутинга страшно рассердился на это, но ещё более испугался. Я думаю, что он освободит Индию от своей просвещённой особы.

– Много бы я дал, чтобы его выгнать. Это научило бы подобных ему личностей заниматься своими делами. Но как насчёт холеры? Ещё слишком рано для этого, – сказал смотритель солёного источника, не приносявшего доходов.

– Не знаю, – задумчиво сказал депутат. – У нас появилась саранча. По всему северу распространилась спорадическая холера – по крайней мере, мы, из приличия, называем её спорадической. Весенний урожай плох в пяти округах, и никто, по-видимому, не знает, где дожди. Скоро март. Я не хочу никого пугать, но мне кажется, что в этом году природа будет сводить свои счёты большим красным карандашом.

– Как раз тогда, когда я хотел взять отпуск, – раздался чей-то голос издали.

– Отпусков в этом году будет не много, но, вероятно, много повышений. Я приехал, чтобы убедить правительство внести мой излюбленный канал в список необходимых работ в связи с голодом. Нет такого дурного ветра, который не приносил бы добра. Я наконец добьюсь, чтобы этот канал был окончен.

– Значит, старая программа, – сказал Хольден. – Голод, лихорадка и холера.

– О, нет. Только недород на местах и необыкновенные вспышки обычных сезонных болезней. Вы найдёте все это в рапортах, если доживёте до будущего года. Вы счастливый малый. У вас нет жены, которую нужно отсылать подальше от беды. Горные местности, должно быть, будут наполнены женщинами в этом году.

– Мне кажется, вы склонны преувеличивать значение разговоров на базарах, – сказал молодой чиновник из секретариата. – Я заметил...

– Согласен, что заметили, – сказал депутат-комиссионер, – но многое ещё вам придётся замечать, сыночек. А пока я желаю заметить вам. – И он отвёл молодого человека в сторону, чтобы обсудить вопрос о постройке канала, так дорогого его сердцу.

Хольден пошёл в своё бунгало и начал сознавать, что он не один на свете и что боится за другого – самый душеспасительный из всех страхов, известных человеку.

Через два месяца, как предсказал депутат, природа стала сводить свои счёты красным карандашом. По пятам весенней жатвы поднялся крик о хлебе, и правительство, постановившее, что ни один человек не должен умереть от голода, прислало пшеницу. Потом со всех четырех сторон света явилась холера. Она разразилась над собранием полумиллиона пилигримов у священного алтаря. Многие умерли у ног своего Бога; другие убежали и разбежались по всей стране, разнося заразу. Она поразила обнесённый стенами город и убивала по двести человек в день. Народ томился в поездах, висел на подножках, сидел, скорчившись, на крышах вагонов, а холера следовала за ними, так что на каждой станции вытаскивали мёртвых и умирающих. Последние умирали на дорогах, и лошади англичан пугливо бросались в сторону при виде трупов, лежавших в траве. Дожди не приходили; земля обратилась в железо, чтобы человек не мог укрыться в ней от смерти. Англичане отослали жён в горы и продолжали свою работу, являясь, когда им приказывали, заполнять пробелы в боевой линии. Хольден, в страхе

потерять своё самое драгоценное сокровище на земле, употреблял все усилия, чтобы уговорить Амиру уехать с матерью в Гималаи.

– Зачем я поеду? – сказала она однажды вечером, сидя на крыше.

– Здесь болезнь и люди умирают: все мем-лог уехали.

– Все?

– Все. Осталась, может быть, какая-нибудь взбалмошная старуха, которая раздражает сердце своего мужа, рискуя подвергнуться смерти.

– Нет; та, которая остаётся, моя сестра, и ты не должен бранить её, потому что я также буду взбалмошной. Я рада, что все бойкие мем-лог уехали.

– С кем я говорю – с женщиной или с ребёнком? Поезжай в горы, и я устрою так, что ты поедешь, как королевская дочь. Подумай, дитя. В красной лакированной повозке, запряжённой волами, с медными павлинами на дышле и красными суконными занавесками. Я пошлю двух ординарцев, чтобы охранять тебя и...

– Замолчи! Вот ты так говоришь, как ребёнок. Зачем мне эти игрушки? Он гладил бы волов и играл бы с попонами. Ради него, может быть, – ты все-таки сделал из меня англичанку, – я поехала бы. А теперь не хочу. Пусть бегут мем-лог.

– Их отсылают мужья, возлюбленная.

– Очень хорошо. С каких пор ты стал моим мужем и можешь приказывать мне? Я только родила тебе сына. Ты только желание всей моей души. Как могу я уехать, когда знаю, что, если бы с тобой случилось несчастье, маленькое, как самый мой маленький ноготь на пальце – разве он не мал? – я узнала бы об этом, хотя была бы в раю. А здесь, этой весной, ты можешь умереть, и когда будешь умирать, призовут ходить за тобой белую женщину, и она отнимет у меня последние минуты твоей любви.

– Но любовь не рождается в одно мгновение, да ещё на смертном одре!

– Что ты знаешь о любви, каменное сердце? По крайней мере, она примет твою последнюю благодарность, а, клянусь Богом и Пророком и Биби Мириам, матерью твоего Пророка, я этого не вынесу. Господин мой и любовь моя, пусть больше не будет глупого разговора об отъезде. Где ты, там я. Довольно.

Она обвила его шею одной рукой, а другой закрыла ему рот.

Редко бывают такие минуты полного счастья, как те, которые урываются от дамоклова меча судьбы. Они сидели и смеялись, называя друг друга всеми ласковыми именами так, что могли вызвать гнев богов. Город скрывал муки в своих стенах. Огни зажжённой серы сверкали на улицах; раковины в индусских храмах кричали громко потому, что боги были невнимательны в эти дни. В большом магометанском храме шла служба, а с минаретов доносились почти непрерывные призывы к молитве. Они слышали жалобный плач в домах, где были покойники; однажды до них донёсся крик матери, потерявшей ребёнка и призывавшей его вернуться. В серой дымке рассвета они увидели, что из городских ворот выносят покойников; каждые носилки были окружены небольшой кучкой провожающих. Тут они поцеловались и вздрогнули.

Природа сводила свои счёты большим красным карандашом. Страна была очень больна и нуждалась хотя бы в небольшой передышке, чтобы поток обесцененной жизни мог снова оросить её. Дети несозревших отцов и недоразвившихся матерей не оказывали никакого сопротивления. Они были пришиблены и сидели смирно в ожидании, пока меч снова будет вложен в ножны, в ноябре, если будет угодно судьбе. Среди англичан также оказались пробелы, но они были заполнены. Работа по надзору над голодающими, над холерными бараками, раздачей лекарств и теми немногочисленными санитарными мерами, которые можно было принять, шла, как было предписано.

Хольдену велено было быть наготове, чтобы отправиться заместителем первого человека, который свалится с ног. В продолжение двенадцати часов ежедневно он не мог видеться с

Амирой, а она могла умереть в три. Он размышлял о том, как тяжело ему будет не видеть её три месяца и ещё тяжелее, если она умрёт не на глазах у него. Он был вполне уверен, что её смерть неминуема, так уверен, что, когда поднял голову от телеграммы и увидел стоявшего в дверях запыхавшегося Пир Хана, он громко расхохотался.

– Ну?... – спросил он.

– Когда ночью слышен крик и замирает дыхание в горле, у кого есть чары, чтобы вылечить? Иди скорее, небеснорожденный! Это чёрная холера.

Хольден галопом поскакал к своему дому. Небо было покрыто тяжёлыми тучами, потому что давно задержавшиеся дожди приблизились, и жара была душливая. Мать Амиры встретила его во дворе, жалобно всхлипывая.

– Она умирает. Она готовится к смерти. Она уже почти мертва. Что я буду делать, сахиб?

Амира лежала в комнате, в которой родила Тота. Она не подала никакого признака жизни, когда вошёл Хольден, потому что человеческая душа чрезвычайно одинока и, когда готовится уйти, то прячется в туманную пограничную страну, куда не могут проникнуть живые. Чёрная холера делает своё дело спокойно и без объяснений. Амира выталкивалась из жизни, как будто сам Ангел Смерти наложил на неё свою руку. Прерывистое дыхание указывало на страх или на боль, но ни глаза, ни рот не отвечали на поцелуи Хольдена. Ничего нельзя было ни сделать, ни сказать. Хольден мог только ждать и страдать. Первые капли дождя начали падать на крышу, и из истомлённого жаждой города доносились радостные крики.

Душа возвратилась, и губы задвигались. Хольден нагнулся и прислушался.

– Не оставляй себе ничего моего, – сказала Амира. – Не бери волос с моей головы. Она заставит тебя сжечь их потом. Я почувствую этот огонь. Ниже! Нагнись ниже! Помни только, что я была твоя и родила тебе сына. Даже если ты завтра же женишься на белой женщине, удовольствие принять в свои объятия первенца навсегда отнято у тебя. Вспомни меня, когда у тебя родится сын – тот, который будет носить твоё имя перед всеми. Его несчастья пусть падут на мою голову. Я исповедую... Я исповедую, – губы говорили слова над самым его ухом, – что нет Бога, кроме... тебя, возлюбленный!

Потом она умерла. Хольден сидел тихо; всякая способность думать была утрачена им, пока он не услышал, как мать Амиры приподняла занавеску.

– Она умерла, сахиб?

– Умерла.

– Тогда я стану оплакивать её, а потом сделаю опись мебелировки этого дома. Потому что он будет моим. Сахиб ведь не думает отнять его? Он такой маленький, такой маленький, а я старуха. Мне хотелось бы лежать на мягком.

– Ради Бога, помолчи немного. Уйди и оплакивай её там, где я не могу слышать.

– Сахиб, её похоронят через четыре часа.

– Я знаю обычай. Я уйду прежде, чем её унесут. Это дело в твоих руках. Присмотри за тем, чтобы кровать, на которой... на которой она лежит...

– Ага! Эта прекрасная лакированная кровать. Я давно желала...

– Чтобы эта кровать осталась здесь нетронутой, в моем распоряжении. Все остальное в доме – твоё. Найми повозку, возьми все, уезжай отсюда, и чтобы до восхода солнца ничего не осталось в этом доме кроме того, что я приказал тебе не трогать.

– Я старуха. Мне хотелось бы остаться, по крайней мере, на дни траура, и дожди только что начались. Куда я пойду?

– Что мне за дело? Я приказываю, чтобы ты ушла. Обстановка дома стоит тысячу рупий, а вечером мой ординарец принесёт тебе сто рупий.

– Это очень мало. Подумай, что будет стоить наём повозки.

– Ничего не будет, если ты не уйдёшь отсюда, и как можно скорее. О, женщина, убирайся и оставь меня с моей покойницей.

Мать, шаркая ногами, спустилась по лестнице и в заботах о том, чтобы собрать имущество, забыла оплакивать дочь. Хольден остался у постели Амиры, а дождь барабанил по крыше. Благодаря этому шуму, он не мог думать связно, хотя и старался привести в порядок свои мысли. Потом четыре укутанных в саваны призрака проскользнули, все мокрые, в комнату и усталились на него сквозь покрывала. То пришли обмывать покойницу. Хольден вышел из комнаты и направился к своей лошади. Он приехал в мёртвую, удушливую тишину, по пыли, доходившей до лодыжки. Теперь нашёл вместо двора пруд, полный лягушек, по которому хлестал дождь; ручей жёлтой воды бежал под воротами, а бушующий ветер ударял каплями дождя, словно тараном, о глиняные стены. Пир Хан дрожал в своей маленькой хижине у ворот, а лошадь беспокойно топталась в воде.

– Мне передали приказание сахиба, – сказал Пир Хан. – Это хорошо. Теперь этот дом опустеет. Я также ухожу, потому что моё лицо мартышки было бы напоминанием прошлого. Что касается кровати, то я принесу её завтра утром к тебе в тот дом; но помни, сахиб, что это будет для тебя нож, поворачиваемый в свежей ране. Я отправляюсь в паломничество и не возьму денег. Я растолстел под покровительством моего высокого господина. В последний раз я держу ему стремя.

Он дотронулся обеими руками до ноги Хольдена, и лошадь выскочила на дорогу, где скрипучие бамбуковые стволы хлестали по небосклону, а лягушки смеялись. Дождь бил прямо в лицо Хольдену так, что он ничего не видел. Он закрыл глаза руками и пробормотал:

– О, скотина! Настоящая скотина!

Весть об его горе уже дошла до бунгало. Он прочёл это в глазах своего дворецкого, Ахмед Хана, когда тот принёс ему еду и в первый и в последний раз в своей жизни положил руку на плечо своего господина, говоря:

– Кушай, сахиб, кушай. Мясо – хорошее средство от печали. Я также испытал это. К тому же тени приходят и уходят; тени приходят и уходят. Вот яйца с соусом из сои.

Хольден не мог ни есть, ни спать. Небеса послали в ночь дождь, покрывший землю на восемь дюймов и начисто омывший её. Воды опрокинули стены, разрушили дороги и размыли неглубокие могилы магометанского кладбища. Дождь шёл весь следующий день, и Хольден сидел дома, погруженный в печаль. Наутро третьего дня он получил телеграмму, в которой говорилось: «Риккетс, Миндони. Умирает. Хольден заменяет. Немедленно». Тогда он захотел посмотреть перед отъездом на дом, в котором был хозяином и господином. Погода несколько прояснилась; от сырой земли шёл пар.

Он увидел, что дожди опрокинули глиняные столбы ворот, а тяжёлая деревянная калитка, охранявшая ту, которая была его жизнью, лениво висела на одной петле. На дворе выросла трава в три дюйма; хижина Пир Хана была пуста, и мокрая солома осела между балками. Серая белка завладела верандой, как будто дом стоял необитаемым в продолжение тридцати лет, а не трех дней. Мать Амиры увезла все, за исключением испорченных циновок. «Тик-так» маленьких скорпионов, быстро двигавшихся по полу, был единственным звуком в доме. Комнаты Амиры и та, в которой жил Тота, были пропитаны сыростью, а узкая лестница, ведущая на крышу, вся покрыта грязью. Хольден взглянул на все это и вышел из дома; на улице он встретил Дурга Дасса, хозяина дома. Толстый, любезный, одетый в белую кисею, он ехал в рессорном кабриолете.

– Я слышал, что вы больше не нуждаетесь в этом доме, сахиб?

– Что вы думаете сделать с ним?

– Может быть, сдам его снова.

– Тогда я оставляю его за собою на время моего отсутствия.

Дурга Дасс помолчал несколько времени.

– Не надо так принимать это к сердцу, сахиб, – сказал он. – Когда я был молодым человеком, я также... А теперь я член муниципалитета. Когда птицы улетают, зачем оставлять их гнездо. Я велю скрыть его – за лес можно будет все-таки получить кое-что. Дом будет скрыт, и муниципалитет проведёт тут – как желал – дорогу к городской стене так, что ни один человек не будет в состоянии сказать, где стоял этот дом.

Возвращение Имрея

Имрей выполнил невозможное... Без предупреждения, без какого-либо понятного повода, молодой, только что начинавший избранную им карьеру, он решился покинуть свет, т. е. исчезнуть с той маленькой индийской станции, где он жил.

Днём он был жив, здоров, счастлив; его видели многие в клубе. Наутро его не оказалось, и никакие поиски ни к чему не привели; так и не удалось узнать, где он находился. Он вышел из своего жилища; он не появился в назначенный час на службе, и его догкарта не было видно на общественных дорогах. По этим причинам и потому, что он, в микроскопических размерах, причинил затруднение администрации индийской империи, эта империя остановила своё внимание на одно мгновение, чтобы навести справки об участии Имрея. Обыскали пруды, исследовали источники, послали телеграммы по линиям железных дорог и в ближайший морской порт – за тысячу двести миль; но Имрея обнаружить не удалось. Он исчез, и его больше не видели обитатели станции. Потом работа великой индийской империи пошла вперёд быстрым ходом, потому что её нельзя было задерживать, и Имрей из человека превратился в тайну – в предмет разговора за столом в клубе в продолжение месяца, а затем был окончательно забыт. Его ружья, лошади и экипажи были проданы тому, кто дал дорожке других. Его начальник написал совершенно глупое письмо матери, где говорил, что Имрей исчез непонятным образом и его бунгало стоит пустым.

Через три-четыре месяца, по окончании периода палящей жары, мой друг Стрикленд, служивший в полиции, решил нанять это бунгало у его хозяина-туземца. Это было раньше его обручения с мисс Югхель, в то время, когда он занимался изучением туземной жизни. Его собственная жизнь была довольно оригинальна, и люди жаловались на его манеры и привычки. В доме у него всегда было что поесть, но не было определённого времени для еды. Он ел, стоя и расхаживая, то, что находил в буфете, а это нехорошо для человеческого организма. Обстановка его дома ограничивалась шестью винтовками, тремя ружьями, пятью сёдлами и коллекцией больших удочек. Все это занимало одну половину бунгало, а другая была отдана Стрикленду и его собаке Тайтдженс – громадной рампурской суке, съедавшей каждый день порции двух человек. Тайтдженс разговаривала со Стриклендом на своём языке; а если, гуляя, подмечала что-нибудь, могущее нарушить покой её величества королевы-императрицы, то немедленно возвращалась к своему хозяину с донесением. Стрикленд принимал меры, и результатом его трудов были беспокойство, штрафы и заключение в тюрьму других людей. Туземцы считали Тайтдженс домовым и обращались с ней с большой почтительностью и страхом. Одна комната в бунгало была отведена специально для неё. Ей принадлежала кровать, одеяло, плошка для питья; если кто-нибудь приходил ночью в комнату Стрикленда, она опрокидывала прищельца и лаяла, пока не приходил кто-нибудь со свечой. Стрикленд был обязан ей жизнью. Однажды, на границе, когда он искал одного убийцу, тот пришёл на заре, чтобы при сером свете её отправить Стрикленда гораздо дальше Андаманских островов. Тайтдженс схватила этого человека, когда он прокрадывался в палатку Стрикленда с кинжалом в зубах; после того, как виновность его была установлена перед законом, он был повешен. С этого дня Тайтдженс носила серебряный ошейник и на её одеяле появилась монограмма, а само одеяло было из двойного кашемирского сукна, потому что Тайтдженс была деликатная, нежная собака.

Ни при каких обстоятельствах она не разлучалась со Стриклендом и однажды, когда он был болен лихорадкой, доставила много хлопот докторам, потому что сама не знала, как помочь своему хозяину, а никому другому не позволяла оказывать помощь. Макарат, состоявший на медицинской службе в Индии, бил её прикладом ружья по голове до тех пор, пока она не поняла, что надо дать место людям, которые могут больному давать хинин.

Вскоре после того, как Стрикленд поселился в бунгало Имрея, мне пришлось проезжать по делу через эту станцию, и, так как все помещения в клубе были заняты, я, естественно, поместился у Стрикленда. Бунгало было очень удобно – в восемь комнат и с крышей, так плотно покрытой соломой, что никакой дождь не мог проникать через неё. Под крышей был натянут холст, имевший вид чисто выбеленного извёсткой потолка. Холст этот заменял потолок. Хозяин выбелил его заново, когда Стрикленд нанял бунгало. Тому, кто незнаком с постройкой индийских бунгало, и в голову не придёт, что над холстом находится двухскатный чердак, где балки и солома укрывают всевозможных крыс, летучих мышей, муравьёв и разный хлам.

Тайтдженс встретила меня на веранде с лаем, похожим на удар колокола собора св. Павла, и положила лапы на моё плечо, чтобы показать, как рада мне. Стрикленду удалось набрать каких-то остатков кушаний (он назвал это «ленчем»). Покончив с этим, он немедленно отправился по своим делам. Я остался один с Тайтдженс и с моими собственными делами. Летняя засуха сменилась тёплыми дождями. В разгорячённом воздухе не было ни малейшего движения, но дождь падал на землю и подымался снова вверх голубым туманом. Бамбук, яблони и манговые деревья в саду стояли тихо, а тёплая вода хлестала их; лягушки начали петь среди изгородей из алоэ. До наступления темноты, пока дождь лил всего сильнее, я сидел на задней веранде, слушал, как вода с шумом падала с крыши, и почёсывался, так как от жары у меня появилась особая сыпь. Тайтдженс вышла со мной на веранду и положила голову на мои колени; она была очень печальна. Когда поспел чай, я дал ей сухарей. Чай я пил на задней веранде, так как там было несколько прохладнее. За моей спиной темнели комнаты. Я чувствовал запах сёдел Стрикленда и масла, которым были смазаны его ружья, и мне не хотелось сидеть среди этих вещей. В сумерках пришёл мой слуга в кисейной одежде, насквозь промокшей и плотно облежавшей тело, и сказал, что какой-то джентльмен желает видеть кого-нибудь. Очень неохотно я пошёл в пустую гостиную и велел моему слуге принести свет. Может быть, кто-нибудь действительно приходил в комнату – мне показалось, что я видел за окном какую-то фигуру, – но когда принесли свечи, там никого не было, кроме капель дождя, ударявших в окна, и запаха влажной земли, который я ощущал. Я объяснил моему слуге, что он не умнее, чем ему полагается быть, и пошёл на веранду поговорить с Тайтдженс. Она вышла под дождь, и даже с помощью осыпанных сахаром сухарей мне едва удалось уговорить её вернуться. Стрикленд пришёл домой перед самым обедом, промокший так, что вода струилась с его одежды. Первые слова его были:

– Приходил кто-нибудь?

Я, извиняясь, объяснил, что мой слуга вызвал меня понапрасну в гостиную; а может быть, то был какой-нибудь бродяга, спросивший Стрикленда, но потом раздумавший и убежавший. Стрикленд без дальнейших разговоров приказал подать обед, а так как обед был настоящий, поданный на белой скатерти, то мы сели за стол.

В девять часов Стрикленд захотел лечь спать; я также устал. Тайтдженс, которая лежала под столом, встала и направилась на наименее открытую часть веранды, как только её господин вошёл в свою комнату, которая была рядом с комнатой, отведённой для Тайтдженс. Неудивительно, если бы жена вдруг вздумала спать на веранде под проливным дождём. Но ведь Тайтдженс была собака, была, значит, поумнее. Я удивился и взглянул на Стрикленда, ожидая, что он выгонит Тайтдженс с веранды хлыстом. Он странно улыбнулся, как улыбается человек, только что рассказавший неприятную семейную тайну.

– Она делает это с тех пор, как я переехал сюда, – сказал он. – Оставьте её.

Собака принадлежала Стрикленду, поэтому я ничего не сказал; но я понимал, что должен был чувствовать Стрикленд при таком отношении. Тайтдженс улеглась под моим окном; порывы бури налетали один за другим, гремели по крыше и замирали вдали. Молния бороздила небо, но свет её был бледно-голубой, а не жёлтый; сквозь растрескавшиеся бамбуковые шторы я видел большую собаку. Она не спала и стояла на веранде, оцетинившись, упёршись

ногами так крепко, словно железные устои на висячем мосту. Во время очень коротких пауз между раскатами грома я пробовал уснуть, но мне казалось, что моё бодрствование крайне необходимо для кого-то. Этот кто-то пробовал звать меня каким-то хриплым шёпотом. Гром замолк; Тайтдженс вышла в сад и стала выть на луну. Кто-то старался открыть мою дверь, расхаживал по дому, стоял, тяжело дыша, на веранде, и как раз в ту минуту, как я стал засыпать, мне послышался страшный стук или крик над головой или у двери.

Я вбежал в комнату Стрикленда и спросил его, не болен ли он и не звал ли меня? Он лежал на постели полуодетый, с трубкой во рту.

– Я думал о том, что вы придёте, – сказал он. – Вы слышали, как я обходил дом?

Я сказал, что он расхаживал по столовой, курительной комнате и в других местах; он рассмеялся и сказал, чтобы я шёл спать. Я лёг спать и проспал до утра; но все время я чувствовал, что оказываю несправедливость кому-то, не позаботившись о нем. Что ему было нужно, я не мог сказать, но кто-то, шепчущий, трогающий двери, затворы, бродящий по дому, прячущийся, упрекал меня за мою неповоротливость, и в полусне я слышал вой Тайтдженс в саду и шум дождя.

Я прожил два дня в этом доме. Стрикленд каждый день уходил на службу, оставляя меня одного на восемь или десять часов наедине с Тайтдженс. Пока было светло, я чувствовал себя спокойно, и Тайтдженс также, но в сумерках мы с ней отправлялись на заднюю веранду и прижимались друг к другу. Мы были одни в доме, но в нем был кто-то, с кем я не желал иметь дела. Я никогда не видел его, но мог видеть, как колыхались портьеры между комнатами, по которым он только что прошёл; я слышал, как скрипели бамбуковые стулья под тяжестью только что покинувшего их тела; а когда я входил в столовую за книгой, я чувствовал, что в тени передней веранды кто-то дожидается моего ухода. Когда наступали сумерки, Тайтдженс блестящими глазами, с поднявшейся дыбом шерстью, следила за движениями чего-то невидимого мне. Она никогда не входила в комнаты, но в глазах её выражался интерес, и этого было совершенно достаточно. Только когда мой слуга приходил заправлять лампы и комната принимала светлый и обитаемый вид, она входила вместе со мной и проводила время, наблюдая за невидимым лишним человеком, двигавшимся за моим плечом. Собаки – весёлые товарищи.

Я объяснил Стрикленду, как можно любезнее, что хочу сходить в клуб и найти там себе помещение. Я восхищался его гостеприимством, мне нравились его ружья и удочки, но сам дом и царившая в нем атмосфера были неприятны мне. Он выслушал меня до конца и потом улыбнулся усталой, но не презрительной улыбкой, потому что он человек, хорошо понимающий все.

– Оставайтесь, – сказал он, – и посмотрите, что все это значит. То, о чем вы говорите, известно мне с тех пор, как я нанял бунгало. Оставайтесь и подождите. Тайтдженс уж покинула меня. Сделаете и вы то же?

Я раз принимал участие в одном его дельце, связанном с языческим идолом; дело это чуть не довело меня до сумасшедшего дома, и у меня не было желания помогать ему в дальнейших экспериментах. Это был человек, у которого неприятности были так же часты, как обеды у обыкновенных людей.

Поэтому я повторил ещё яснее, что я очень люблю его и рад видаться с ним днём, но не желаю спать под его кровлею. Это было после обеда, когда Тайтдженс ушла на веранду.

– Клянусь душой, не удивляюсь этому, – сказал Стрикленд, смотря на потолок. – Взгляните-ка туда.

Хвосты двух тёмных змей висели между холстом и карнизом стены. При свете лампы они отбрасывали длинные тени.

– Конечно, если вы боитесь змей... – сказал Стрикленд.

Я ненавижу и боюсь змей, потому что если поглядеть в глаза любой змее, то увидишь, что она знает все о тайне падения человека и чувствует все презрение, которое чувствовал дьявол,

когда Адам был изгнан из рая. Не говоря о том, что её укус всегда бывает роковым, но и так неприятно, когда она обвивается вокруг ног.

– Вам нужно перекрыть крышу, – сказал я. – Дайте мне вашу большую удочку, и мы сбросим их вниз.

– Они спрячутся между стропил, – сказал Стриклэнд. – Я не выношу змей над головой. Я пойду наверх, под крышу. Стойте тут; если я стряхну их, ударьте их железным прутом и перебейте им спинные позвонки.

Мне не очень хотелось помогать Стриклэнду, но все-таки я взял прут и ждал в столовой, пока Стриклэнд принёс с веранды садовую лестницу и приставил её к стене комнаты. Змеиные хвосты втянулись и исчезли. Мы слышали сухой, шуршащий звук длинных тел, ползших по спускавшемуся в виде мешка холщовому потолку. Стриклэнд взял лампу; я напрасно старался доказать ему, как опасно охотиться за змеями между холщовым потолком и соломенной крышей, не говоря уже о порче чужой собственности – прорыве холщового потолка.

– Глупости! – сказал Стриклэнд. – Они, наверное, прячутся около стен, у холста. Кирпичи слишком холодны для них, а комнатное тепло – это именно то, что нравится им.

Он поднял руку, схватил край материи и потянул. Холст с шумом подался, и Стриклэнд просунул через дыру голову в тёмный угол стропил. Я сжал зубы и поднял прут, в полном неведении относительно того, что может спуститься с потолка.

– Гм! – сказал Стриклэнд, и голос его громко раскатился под крышей. – Тут хватит места для нескольких комнат и, клянусь Юпитером, кто-то занимает их!

– Змеи? – спросил я снизу.

– Нет. Тут целый буйвол. Дайте-ка мне удилище, ткну его. Он лежит на самой большой балке.

Я подал удочку.

– Что за гнездо для сов и змей! Нет ничего удивительного, что змеи живут тут, – сказал Стриклэнд, подымаясь выше. Я видел его руку с удочкой. – Ну, выходи, кто там есть! Берегитесь! Падает вниз.

Я увидел, что потолок опускается почти в центре комнаты, словно мешок, содержимое которого заставляло его опускаться все ниже и ниже к стоявшей на столе лампе. Я схватил лампу и встал подальше. Потолок оторвался от стен, разорвался посередине, закачался и выбросил на стол предмет, на который я не решался посмотреть. Стриклэнд спустился с лестницы и встал рядом со мной.

Он ничего не сказал, так как был вообще неразговорчив, но взял один конец скатерти и прикрыл им то, что спустилось.

– Мне кажется, – проговорил он, ставя лампу, – наш друг Имрей возвратился... Так вот оно что!..

Под столом послышалось движение; оттуда выползла маленькая змея; удар удочки переломил ей спину. Мне было так дурно, что я не сделал никакого замечания.

Стриклэнд пил и размышлял. То, что лежало под скатертью, не проявляло признаков жизни.

– Это Имрей? – сказал я.

Стриклэнд откинул на одно мгновение скатерть и взглянул.

– Это Имрей, – сказал он, – и горло у него перерезано от уха до уха.

Тут мы оба сказали друг другу и самим себе:

– Вот почему в доме кто-то ходил.

Тайтдженс бешено залаяла в саду. Несколько позже она открыла своим большим носом дверь в столовую.

Она втянула в себя воздух и остановилась. Разорванный холст потолка свисал почти до стола, и между ним и находкой оставался самый маленький промежуток.

Тайтдженс вошла и села. Она оскалила зубы и упёрлась передними лапами в пол. Взглянула на Стриклэнда.

– Плохо дела, старуха, – сказал Стриклэнд, – люди не влезают на крышу своих бунгало, чтобы умереть, и не натягивают холст, чтобы прикрыть себя. Следует хорошенько обдумать все.

– Обдумаем где-нибудь в другом месте, – сказал я.

– Превосходная идея! Потушите лампы. Мы пойдём в мою комнату.

Я не потушил ламп. Я вошёл первым в комнату Стриклэнда, предоставив ему заняться этим делом. Потом пришёл он, мы закурили трубки и стали думать. Стриклэнд размышлял. Я курил отчаянно, потому что мне было страшно.

– Имрей вернулся, – сказал Стриклэнд. – Вопрос в том, кто убил Имрея? Не говорите; у меня есть своё мнение. Когда я взял это бунгало, я вместе с тем взял и большинство слуг Имрея. Имрей был простодушный, безобидный человек, не так ли?

Я ответил утвердительно; хотя груда под простыней не имела ни простодушного, ни безобидного вида.

– Если позвать всех слуг, они столпятся и станут лгать, как истые арийцы. Что посоветуете вы?

– Зовите их поодиночке.

– Они убегут и расскажут новость всем своим товарищам, – сказал Стриклэнд. – Нужно разделить их. Как вы думаете, известно что-нибудь вашему слуге?

– Не знаю, может быть; хотя не думаю. Он пробыл здесь только два-три дня, – ответил я. – А вы что думаете?

– Не могу сказать ничего определённого. Черт возьми, как мог человек попасть по ту сторону потолка?

За дверью спальни Стриклэнда послышался тяжёлый кашель. Это означало, что его слуга Багадур-Хан проснулся и желает уложить спать Стриклэнда.

– Войди, – сказал Стриклэнд. – Очень жаркая ночь, не правда ли?

Багадур-Хан, магометанин в зеленом тюрбане, шести футов роста, сказал, что ночь очень жаркая, но что находят дожди, которые по милости неба принесут облегчение стране.

– Если будет угодно Богу, – сказал Стриклэнд, стаскивая сапоги. – У меня тяжело на душе из-за того, что я так безжалостно заставил тебя работать в продолжение многих дней – с самого того времени, что ты поступил на службу ко мне. Когда это было?

– Разве небеснорожденный забыл? Это было, когда Имрей-сахиб тайно отправился в Европу, никого не предупредив, а я – я имел честь поступить на службу к покровителю бедных.

– А Имрей-сахиб отправился в Европу?

– Так говорят его слуги.

– Ты поступишь на службу к нему, если он вернётся?

– Конечно, сахиб. Он был добрый господин и любил своих людей.

– Это правда. Я очень устал, а завтра пойду охотиться на оленей. Дай мне маленькое ружьё, которое я беру для такой охоты; оно вон там, в футляре.

Багадур-Хан нагнулся над футляром, подал ствол ружья и прочие его части Стриклэнду, который стал прилаживать все эти принадлежности, отчаянно зевая. Потом со дна футляра он вынул патрон и вложил его в ружьё.

– Так Имрей-сахиб тайно уехал в Европу? Это очень странно, не правда ли, Багадур-Хан?

– Как мне знать об обычаях белых людей, небеснорожденный?

– Конечно, ты знаешь очень мало. Но сейчас узнаешь больше. До меня дошли слухи, что Имрей-сахиб вернулся из своего продолжительного путешествия и в настоящую минуту лежит рядом в комнате, ожидая своего слугу.

– Сахиб!..

Свет лампы скользнул по дулу ружья, приставленному к широкой груди Багадур-Хана.
– Иди и посмотри! – сказал Стриклэнд. – Возьми лампу. Твой господин устал и ожидает тебя. Иди!

Багадур-Хан взял лампу и пошёл в столовую. Стриклэнд шёл за ним, слегка подталкивая его дулом ружья. Багадур-Хан взглянул на чёрные глубины за упавшим холстом, на змею, извивавшуюся на полу; затем – и тут лицо его приняло серый оттенок – на предмет, лежавший под простыней.

– Ты видел? – после некоторого молчания спросил Стриклэнд.

– Я видел. Я – глина в руках белого человека. Что сделает высокий господин?

– Повесит тебя через месяц. Что же иное?

– За то, что я убил его? Нет, сахиб, подумай. Гуляя среди нас, его слуг, он обратил внимание на моего ребёнка, которому было четыре года. Он сглазил его, и через десять дней ребёнок умер от лихорадки. Он, моё дитя!

– Что сказал Имрей-сахиб?

– Он сказал, что ребёнок красив, и погладил его по голове; от этого дитя моё умерло. Поэтому я убил Имрея-сахиба в сумерки, когда он вернулся со службы и уснул. Потом я втащил его на стропила и заделал потолок. Небеснорожденный знает все. Я слуга небеснорожденного.

Стриклэнд взглянул на меня поверх винтовки и сказал на местном наречии:

– Ты будешь свидетелем его слов? Он убил.

При свете одинокой лампы Багадур-Хан стоял смертельно бледный. Сознание необходимости оправдаться быстро вернулось к нему.

– Я попался в ловушку, – сказал он, – но вина лежит на том человеке. Он сглазил моего ребёнка, и я убил и спрятал его. Только те, кому служат дьяволы, – он посмотрел яростным взглядом на Тайтдженс, угрюмо лежавшую перед ним, – только те могли узнать, что я сделал.

– То-то!.. Тебе следовало бы подвесить и её на верёвке на балку. А теперь тебя самого повесят на верёвке. Дежурный!

Сонный полицейский явился на его зов. За ним вошёл другой. Тайтдженс сидела поразительно тихо.

– Уведите его в полицейский участок, – сказал Стриклэнд. – Его будут судить.

– Значит, я буду повешен? – сказал Багадур-Хан, не пытаясь бежать и опустив глаза в пол.

– Как солнце сияет и вода течёт – да! – сказал Стриклэнд.

Багадур-Хан отступил далеко назад, вздрогнул и остановился. Полицейские ожидали дальнейших приказаний.

– Ступайте! – сказал Стриклэнд.

– Да; я уйду очень быстро, – сказал Багадур-Хан. – Взгляните! Я уже мёртвый человек.

Он поднял ногу. К его пятке прикинула голова полураздавленной змеи, крепко вцепившейся в тело в судорожной агонии.

– Я из земледельческого рода, – сказал, покачиваясь, Багадур-Хан. – Для меня было бы позорно взойти публично на эшафот; поэтому я избираю этот путь. Обратите внимание, что рубашки сахиба аккуратно подсчитаны, а в рукомойнике есть лишний кусок мыла. Мой ребёнок был заморожен, и я убил колдуна. Зачем вам пытаться убить меня верёвкой? Моя честь спасена... и... я умираю.

Через час он умер, как умирают укушенные маленькой тёмной змеей караит, и полицейские отнесли его и таинственный предмет под простыней в назначенные им места. И то, и другое было нужно, чтобы объяснить исчезновение Имрея.

– Это называется девятнадцатым веком, – очень спокойно, влезая на кровать, сказал Стриклэнд. – Слышали вы, что говорил этот человек?

– Слышал, – ответил я. – Имрей сделал ошибку.

– Единственно из-за незнания природы восточного человека и совпадения этого случая с появлением обычной сезонной лихорадки. Багадур-Хан служил у него четыре года.

Я вздрогнул. Именно столько же времени служил у меня мой слуга. Когда я прошёл к себе в комнату, я увидел его, ожидавшего меня, чтобы снять сапоги, с лицом, лишённым всякого выражения, словно изображение головы на медном пенни.

– Что случилось с Багадур-Ханом? – сказал я.

– Его укусила змея, и он умер. Остальное известно сахибу, – последовал ответ.

– А что знал ты об этом деле?

– Столько, сколько можно узнать от того, кто выходит в сумерки искать удовлетворения. Осторожнее, сахиб. Позвольте мне снять вам сапоги.

Я только что стал засыпать от утомления, как услышал, что Стрикленд крикнул мне с другой стороны дома:

– Тайтдженс вернулась на своё место!

Так и было. Большая охотничья собака величественно возлежала на своей постели, на своём одеяле, а рядом в комнате пустой холст с потолка, раскачиваясь, тянулся по полу.

Финансы богов

Ужин в чубаре Дхуини Бхагата⁴ закончился, и старые жрецы курили или перебирали чётки. Вышел маленький голый ребёнок с широко открытым ртом, с пучком ноготков в одной руке и связкой сушёного табака в другой. Он попробовал встать на колени и поклониться Гобинду, но так как был очень толст, то упал вперёд на свою бритую головку и покатился в сторону, барахтаясь и задыхаясь, причём ноготки отлетели в одну сторону, а табак в другую. Гобинд рассмеялся, поставил мальчика на ноги и, приняв табак, благословил цветы.

– От моего отца, – сказал ребёнок. – У него лихорадка, и он не может прийти. Ты помолишься о нём, отец?

– Конечно, крошка; но на земле туман, а в воздухе ночной холод и осенью не хорошо ходить голым.

– У меня нет одежды, – сказал ребёнок, – сегодня утром я все время носил кизяк на базар. Было очень жарко, и я очень устал.

Он слегка вздрогнул, потому что было прохладно.

Гобинд вытянул руку из-под своего громадного, разноцветного старого одеяла и устроил привлекательное гнёздышко рядом с собой. Ребёнок юркнул под одеяло. Гобинд наполнил свою кожаную, отделанную медью трубку новым табаком. Когда я пришёл в чубару, обрита головка с пучком волос на маковке и похожими на бисеринки чёрными глазами выглядывала из-под складок одеяла, как белка выглядывает из своего гнёзда. Гобинд улыбался, когда ребёнок тербил его бороду.

Мне хотелось сказать что-нибудь ласковое, но я вовремя вспомнил, что в случае, если ребёнок захворает, скажут, что у меня дурной глаз, а обладать этим свойством ужасно.

– Лежи смирно, непоседа, – сказал я, когда ребёнок хотел подняться и убежать. – Где твоя аспидная доска, и почему учитель выпустил на улицу такого разбойника, когда там нет полиции, чтобы защитить нас, бедных? Где ты пробуешь сломать себе шею, пуская змея с крыш?

– Нет, сахиб, нет, – сказал ребёнок, пряча лицо в бороду Гобинда и беспокойно вертась. – Сегодня в школе праздник, и я не всегда пускаю змея. Я играю, как и все другие, в керликет.

Крикет – национальная игра на открытом воздухе пенджабских ребят: от голых школьников, использующих старую жестянку из-под керосина вместо ворот, до студентов университета, стремящихся стать чемпионами.

– Ты-то играешь в керликет! А сам ты вдвое меньше ворот, – сказал я.

Мальчик решительно кивнул головой.

– Да, играю. Я знаю все, – прибавил он, коверкая выражения, употребляемые при игре в крикет.

– Но, несмотря на это, ты не должен забывать молиться богам как следует, – сказал Гобинд, не особенно одобрявший крикет и западные нововведения.

– Я не забываю, – сказал ребёнок тихим голосом.

– А также относиться с уважением к твоему учителю и, – голос Гобинда стал мягче, – не дёргать святых за бороду, маленький егоза... Э, э, э?

Лицо ребёнка совершенно спряталось в большой седой бороде; он захныкал. Гобинд утешил его – как утешают детей на всем свете – обещанием рассказать сказку.

– Я не хотел пугать тебя, глупенький. Взгляни. Разве я сержусь? Аре, аре, аре! Не заплакать ли и мне? Тогда из наших слез образуется большой пруд и утопит нас обоих, и тогда твой

⁴ Чубара Дхуини Бхагата – монастырь в северной Индии.

отец никогда не поправится, потому что ему не будет хватать тебя и некому будет теревить его за бороду. Успокойся, успокойся; я расскажу тебе о богах. Ты слышал много рассказов?

– Очень много, отец.

– Ну, так вот новый, которого ты не слышал. Давным-давно, когда боги ходили между людьми – как и теперь, только у нас нет достаточно веры, чтобы видеть это, – Шива, величайший из богов, и Парбати, его жена, гуляли в саду одного храма.

– Которого храма? Того, что в квартале Нандгаон? – сказал ребёнок.

– Нет, очень далеко. Может быть, в Тримбаке или Хурдваре, куда ты должен отправиться в паломничество, когда вырастешь. В саду под ююбами сидел нищий, который поклонялся Шиве в течение сорока лет; жил он приношениями благочестивых людей и день и ночь был погружён в святые размышления.

– О, отец, это был ты? – сказал ребёнок, смотря на него широко раскрытыми глазами.

– Нет, я сказал, что это было давно, и к тому же нищий был женат...

– Посадили его на лошадь с цветами на голове и запретили ему спать целую ночь? Так сделали со мной, когда праздновали мою свадьбу, – сказал ребёнок, которого женили несколько месяцев назад.

– А что ты делал?

– Я плакал и меня бранили; тогда я ударил её, и мы заплакали вместе.

– Нищий этого не делал, – сказал Гобинд, – потому что он был святой человек и очень бедный. Парбати увидела его сидящего голым у лестницы храма, по которой все подымались и спускались, и сказала Шиве: «Что подумают люди о богах, когда боги так презрительно относятся к своим поклонникам? Этот человек молился нам сорок лет, а перед ним только несколько зёрен риса и сломанных каури.⁵ От этого очерствеют сердца людей». Шива сказал: «Будет обращено внимание, – и он крикнул в храме, который был храмом его сына Ганеша, с головой слона: – Сын, тут у храма сидит нищий, который очень беден. Что ты сделаешь для него?» Тогда великий бог с большой слоновьей головой проснулся во тьме и ответил: «Через три дня, если тебе угодно, у него будет лак рупий». Тогда Шива и Парбати ушли. Но среди златоцвета в саду скрывался один ростовщик, – ребёнок взглянул на кучу смятых цветов в руках, – да, среди жёлтых цветов, – и он услышал разговор богов. Он был жадный человек с чёрным сердцем и захотел взять себе лак рупий. Тогда он пошёл к нищему и сказал ему: «Сколько дают тебе каждый день благочестивые люди, брат мой?» Нищий ответил: «Не могу сказать. Иногда немного рису, немного овощей и несколько раковин; случалось давали и маринованные плоды мангового дерева, и вяленую рыбу».

– Это вкусно, – сказал, облизываясь, ребёнок.

– Тогда ростовщик сказал: «Так как я долго следил за тобой и полюбил тебя и твоё терпение, то я дам тебе пять рупий за все, что ты получишь в три следующих дня. Но тут надо подписать одно условие». Но нищий сказал: «Ты безумен. Я не получу пяти рупий и за два месяца». Вечером он рассказал все своей жене. Так как она была женщина, то заметила: «Разве бывает, чтобы ростовщик вступил в невыгодную для себя сделку? Волк бежит по ниве ради толстого, жирного оленя. Наша судьба в руках божиих. Не давай ему обещания даже на три дня».

Нищий вернулся и сказал ростовщику, что не согласен. Злой человек просидел с ним целый день, предлагая все большую и большую цену за трехдневную выручку. Сначала десять, пятьдесят, сто рупий; потом – так как он не знал, когда боги ниспошлют свои дары – он стал предлагать рупии тысячами, пока не дошёл до пол-лака. Тут жена нищего изменила свой совет; нищий подписал условие, и деньги были уплачены серебром; большие белые вола привезли их в повозке. Но кроме этих денег нищий ничего не получил от богов, и на сердце у ростов-

⁵ Раковины, имеющие значение денег.

щика была тревога. Поэтому в полдень третьего дня ростовщик пошёл в храм, чтобы подслушать совет богов, и узнать, каким образом нищий получит их дар. Когда он молился, в камнях пола открылась трещина и захватила его за пятку. Он услышал богов, ходивших во мраке колонн. Шива крикнул своему сыну Ганешу: «Сын, что сделал ты относительно лака рупий для нищего?» Ганеша, должно быть, проснулся, потому что ростовщик услышал глухой шум развёртывавшегося хобота, и ответил: «Отец, половина денег уплачена, а должника, который должен уплатить другую половину, я крепко держу за пятку».

Ребёнок умирал со смеху.

– И ростовщик заплатил нищему? – спросил он.

– Конечно: тот, кого боги держат за пятку, должен уплатить все целиком. Деньги были уплачены серебром вечером же и привезены в больших повозках. Так Ганеша сделал своё дело.

– Нату! Огэ, Нату!

У калитки во двор какая-то женщина кричала в темноте.

Ребёнок беспокойно задвигался.

– Это моя мать, – сказал он.

– Иди, крошка, – сказал Гобинд, – впрочем, подожди минутку.

Он щедрой рукой оторвал кусок от своего заштопанного одеяла и накинул его на плечи Нату. Ребёнок убежал.

Мятежник Моти Гудж

Некогда жил в Индии один владелец кофейных плантаций, которому понадобилось расчистить землю в лесу для разведения кофейных деревьев. Он срубил все деревья, сжёг все поросли, но остались пни. Динамит дорог, а выжигать огнём долго. Счастливой серединой в деле корчевания является царь животных – слон. Он или вырывает пень клыками – если они есть у него, – или вытаскивает его с помощью верёвок. Поэтому плантатор стал нанимать слонов и поодиночке, и по двое, и по трое и принялся за дело. Лучшие из слонов принадлежали худшим из погонщиков, или магутов. Лучшего из слонов звали Моти Гудж. Он был в полном владении своего магута, а этого никогда бы не могло быть в области, состоящей под управлением туземцев, потому что Моти Гудж был таков, что владеть им пожелали бы и цари; в переводе его имя означало «жемчужина слонов». В стране царил британское управление, и Дееса, его магут, безнаказанно пользовался своей собственностью. Он вёл рассеянную жизнь. Когда ему случалось много заработать, благодаря силе своего слона, он напивался вдребезги и бил Моти Гуджа колом по нежным ногтям передних ног. Моти Гудж никогда не трогал его – хотя и мог бы затоптать его до смерти, – потому что знал, что Дееса, отколотив его, станет потом обнимать его хобот, плакать, называть его своим возлюбленным, своей жизнью, жизнью своей души, и даст ему какого-нибудь спиртного напитка. Моти Гудж очень любил спиртные напитки, в особенности арак, хотя не пренебрегал и пальмовым вином. Потом Дееса располагался спать между передними ногами Моти Гуджа, а так как Дееса избирал для этого середину дороги, а Моти Гудж сторожил его покой, не позволяя никому ни проходить, ни проезжать мимо, то движение прекращалось, пока Дееса не сообразовал проснуться.

На работе у плантатора днём спать было нельзя; слишком велик был заработок, чтобы рисковать им. Дееса сидел на шее у Моти Гуджа и отдавал ему приказания; Моти Гудж выкапывал корни, потому что у него была пара чудесных клыков, или тянул конец верёвки, потому что у него были великолепные плечи, а Дееса хлопал его за ушами и говорил, что он царь слонов. Вечером Моти Гудж смачивал триста фунтов съеденной им зелени четвертой арака, в чем принимал участие Дееса, который распевал песни между ногами своего слона, пока не наступало время ложиться спать. Раз в неделю Дееса водил Моти Гуджа к реке, и Моти Гудж с наслаждением растягивался на мелководье, а Дееса мыл его кокосовой шваброй и кирпичом. Моти Гудж никогда не смешивал удара последнего с ударом первой, который обозначал, что ему надо встать и перевернуться на другой бок. Потом Дееса осматривал его ноги, глаза, отворачивал бахрому его могучих ушей, рассматривал, нет ли где болячек, не начинается ли воспаление глаз. После осмотра оба с песнями выходили из воды; Моти Гудж, весь чёрный и блестящий, размахивал оторванной веткой в двенадцать футов длины, которую нёс в хоботе; Дееса закручивал свои длинные, мокрые волосы.

Жизнь Деесы была мирная, хорошо оплачиваемая, пока он не почувствовал желания хорошенько напиться. Ему захотелось оргии. Небольшие, ни к чему не ведущие выпивки окончательно лишали его бодрости.

Он пошёл к плантатору.

– Моя мать умерла, – с плачем сказал он.

– Она умерла два месяца тому назад; и умерла ещё раз, раньше, когда ты работал у меня в последний раз, – сказал плантатор, несколько знакомый с обычаями туземцев.

– Умерла моя тётка, а она была второй матерью для меня, – сказал Дееса, ещё сильнее заливаясь слезами. – Она оставила без хлеба восемнадцать маленьких детей, и я должен наполнять их желудки, – сказал Дееса, ударяясь головой об пол.

– Кто принёс тебе это известие? – сказал плантатор.

– Почта, – сказал Дееса.

– Почта не приходила сюда целую неделю. Иди на работу.

– Страшная болезнь напала на мою деревню, и все мои жены умирают, – на этот раз с искренними слезами громко завопил Дееса.

– Позовите Чихуна, он из одной деревни с Деесой, – сказал плантатор. – Чихун, есть у этого человека жена?

– У него? – сказал Чихун. – Нет. Ни одна женщина в нашей деревне не захочет и взглянуть на него. Они скорее вышли бы замуж за слона.

Он резко рассмеялся.

Дееса плакал и кричал.

– Даю тебе сроку ещё одну минуту. Смотри, тебе будет плохо! – сказал плантатор. – Ступай работать!

– Теперь я скажу истинную правду, – задыхаясь, в порыве вдохновения, сказал Дееса. – Я не был пьян в течение двух месяцев. Я хочу уйти отсюда и напиться как следует, вдали от этой благословенной плантации. Таким образом я не причиню никакого беспокойства.

Улыбка мелькнула на лице плантатора.

– Дееса, – проговорил он, – ты сказал правду, и я сейчас отпустил бы тебя, если бы можно было справиться с Моти Гуджем в твоё отсутствие. Ты знаешь, что он слушается только твоих приказаний.

– Да живёт Свет Неба, – воскликнул Дееса, – сорок тысяч лет! Я удалюсь только на десять коротких дней. Потом – клянусь верой, честью и душой – я вернусь. А что касается этого незначительного промежутка времени, то не даст ли мне небеснорожденный милостивого разрешения позвать сюда Моти Гуджа?

Разрешение было дано, и в ответ на пронзительный крик Деесы величественный слон появился из группы тенистых деревьев, где он обрызгивал себя водяной пылью в ожидании возвращения своего хозяина.

– Свет моего сердца, покровитель пьяных, гора могучей силы, преклони твоё ухо, – сказал Дееса, становясь перед ним.

Моти Гудж преклонил ухо и отсалютовал хоботом.

– Я ухожу, – сказал Дееса.

Глаза Моти Гуджа заблестели. Он так же любил прогулки, как и его хозяин. По дороге всегда можно ухватить какой-нибудь лакомый кусочек.

– Но ты, старый кабан, должен остаться здесь и работать.

Блеск глаз исчез, хотя Моти Гудж и старался казаться восхищённым. Он ненавидел корчевать пни на плантации. От этой работы у него болели зубы.

– Я уйду на десять дней. О, усладитель! Подними-ка переднюю ногу, и я заставлю тебя помнить это, бородавчатая жаба из высохшей грязной лужи.

Дееса взял кол от палатки и ударил десять раз по ногам Моти Гуджа. Моти Гудж заворчал и стал переминаться с ноги на ногу.

– Десять дней ты должен работать, – сказал Дееса, – таскать и выкапывать корни, как тебе прикажет Чихун. Возьми Чихуна и посади его себе на шею!

Моти Гудж подвернул конец хобота, Чихун поставил на него ногу и был поднят на шею слона. Дееса подал Чихуну анкас – железную палку, которой управляют слоном.

Чихун ударил ею по лысой голове Моти Гуджа, как мостильщик ударяет по камням.

Моти Гудж затрубил.

– Молчи, кабан диких лесов! На десять дней Чихун твой магут. А теперь прощай, скотина моего сердца. О, мой владыка, мой царь! Жемчужина всех когда-либо созданных слонов, лилия стада, береги своё почтённое здоровье; будь добродетелен. Прощай!

Моти Гудж обвил Деесу хоботом и дважды подкинул его в воздухе. Таким образом он простился с хозяином.

– Теперь он будет работать, – сказал Дееса плантатору. – Можно мне идти?

Плантатор утвердительно кивнул головой, и Дееса юркнул в лес. Моти Гудж отправился корчевать пни.

Чихун был очень добр к нему, но он все же чувствовал себя несчастным и одиноким. Чихун давал ему лакомства, щекотал его под подбородком; маленький ребёнок Чихуна играл с ним после работы, а жена Чихуна называла его милочкой. Но Моти Гудж был убеждённый холостяк, как и Дееса. Он не понимал семейных чувств. Он жаждал возвращения того, что составляло для него свет жизни, – пьянства и пьяницы-хозяина, диких побоев и диких ласк.

Тем не менее он хорошо работал. Плантатор удивлялся. Дееса бродяжничал по дорогам, пока не встретил свадебной процессии людей своей касты. В попойках и танцах время летело незаметно.

Наступило утро одиннадцатого дня. Дееса не вернулся. Моти Гуджа выпустили для обычного отдыха. Он отряхнулся, оглянулся вокруг, пожал плечами и пошёл, словно у него было какое-то дело в другом месте.

– Ги! Ги! Вернись! – кричал Чихун. – Вернись и посади меня к себе на шею, злополучнорожденный на горе мне! Вернись, великолепие горных склонов! Украшение всей Индии, вернись, а не то я отоью все пальцы твоей толстой передней ноги.

Моти Гудж кротко пробурчал что-то, но не повиновался. Чихун побежал за ним с верёвкой и чуть не поймал его. Моти Гудж вытянул уши. Чихун знал, что это означало, хотя и пытался настоять на своём, прибегая к ругательствам.

– Со мной нельзя шутить! – сказал он. – На место, дьявольский сын!

– Хррум! – сказал только Моти Гудж и втянул уши.

Моти Гудж принял самый беспечный вид, пожевал ветку вместо зубочистки и стал разгуливать, подсмеиваясь над другими слонами, только что принявшимися за работу.

Чихун сообщил о положении дел плантатору. Тот пришёл с хлыстом для собак и стал бешено хлопать им. Моти Гудж оказал любезность белому человеку, прогнав его по просеке на протяжении почти четверти мили и затем загнав его с громким «хррум» на веранду. Потом он остановился перед домом, посмеиваясь про себя и трясясь от веселья, как это бывает со слонами.

– Надо хорошенько вздуть его! – сказал плантатор. – Так его отколотить, как никогда ещё не колотили слона. Дайте Кала Нагу и Назиму по двенадцатифутовой цепи и скажите, чтобы они дали ему по двадцати ударов.

Кала Наг – что значит Чёрный Змей – и Назим были двое из самых больших слонов в имении. Одной из их обязанностей было наказывать виновных, так как ни один человек не в состоянии побить слона как следует.

Они взяли цепи в хоботы и, гремя ими, направились к Моти Гуджу, намереваясь стать по бокам его. Никогда, за все его тридцать девять лет, Моти Гуджа не били цепями, и он вовсе не намеревался испытывать новые ощущения. Поэтому он стоял в ожидании, покачивая головой справа налево и приглядываясь, где бы поглубже вонзить клыки в жирный бок Кала Нага. У Кала Нага клыков не было; цепь была знаком его власти. В последнюю минуту он счёл за лучшее отойти подальше от Моти Гуджа и сделал вид, как будто он принёс цепи ради потехи. Назим повернулся и поскорее пошёл домой. В этот день он не чувствовал себя готовым к битве. Таким образом, Моти Гудж остался один и стоял, насторожив уши.

Эти обстоятельства заставили плантатора отказаться от внушений, и Моти Гудж возобновил свои наблюдения за просекой. Справиться со слоном, не желающим работать и не привязанным, не так легко, как с оторвавшейся во время сильной бури на море пушкой в восемьдесят одну тонну. Он ударял по спине старых друзей и спрашивал, легко ли вытаскиваются пни; он болтал чепуху о работе и неоспоримых правах слонов на продолжительный полуден-

ный отдых. Он разгуливал взад и вперёд, деморализуя всех, до заката солнца, когда вернулся поесть в свою загородку.

– Если не хочешь работать, то не будешь и есть, – сердито сказал Чихун. – Ты дикий слон, а вовсе не воспитанное животное. Отправляйся в свои джунгли!

Маленький смуглый ребёнок Чихуна, катавшийся на полу хижины, протянул свои толстые ручонки к громадной тени у порога. Моти Гудж отлично знал, что этот ребёнок – существо самое дорогое на свете для Чихуна. Он протянул хобот, соблазнительно изогнув его на конце, и смуглый ребёнок с громким, радостным криком бросился на него. Моти Гудж осторожно усадил его и поднял так, что ребёнок очутился в воздухе, на высоте двенадцати футов.

– Великий Вождь! – сказал Чихун. – Двенадцать пирогов из лучшей муки, в два фута длины, пропитанные ромом, немедленно будут твоими; кроме того, двести фунтов только что срезанного сахарного тростника. Сблагороди только спустить на землю в безопасности этого ничего не стоящего мальчишку, моё сердце и моя жизнь!

Моти Гудж удобно устроил смуглого ребёнка между своими передними ногами, которые могли бы разнести на зубочистки всю хижину Чихуна, и стал дожидаться еды. Он поел; смуглый ребёнок прополз между его ногами. Моти Гудж дремал и думал о Деесе. Одна из многих тайн в жизни слона состоит в том, что его громадное тело нуждается во сне менее всех остальных живых существ. Ночью ему достаточно для сна четырех-пяти часов – два часа как раз перед полуночью он спит, лёжа на одном боку; два, ровно после часа ночи, – на другом. Остаток часов отдыха заполнен едой, перемином с ноги на ногу и ворчливыми монологами.

В полночь Моти Гудж вышел из своей загородки, потому что ему пришла мысль, не лежит ли Дееса, пьяный, где-нибудь в тёмном лесу, где никто не может присмотреть за ним. Всю ночь он искал его среди зарослей, ревел, трубил и хлопал ушами. Он спустился к реке и бродил по отмелям, куда Дееса водил его мыться; трубил, но не получал ответа. Найти Деесу он не мог, но привёл в беспокойство всех слонов в округе и чуть не до смерти напугал цыган в лесах.

На заре Дееса вернулся на плантацию. Он был сильно пьян и боялся неприятностей за опоздание. Он вздохнул с облегчением, когда увидел, что бунгало и плантация не повреждены: он хорошо знал нрав Моти Гуджа. Он явился к плантатору с низкими поклонами и всевозможными лживыми извинениями. Моти Гудж ушёл завтракать в свою загородку. Он очень проголодался от своих ночных походов.

– Позови свою скотину, – сказал плантатор.

Дееса крикнул на таинственном слоновьем языке, который, как полагают некоторые магути, зародился в Китае при сотворении мира, когда господами мира были слоны, а не люди. Моти Гудж услышал этот крик и пришёл. Слоны не галопируют. Они передвигаются с места на место разными аллюрами. Если бы слон захотел догнать поезд-экспресс, он не стал бы галопировать, но мог бы догнать его. Поэтому Моти Гудж очутился у дверей дома плантатора прежде, чем Чихун заметил, что слон вышел из своей загородки. Он упал в объятия Деесы, затрубив от радости. Человек и животное плакали, распуская слюни, и ощупывали друг друга с головы до ног, чтобы убедиться, не пострадал ли кто-либо из них.

– Теперь пойдём работать, – сказал Дееса. – Подыми меня, сын мой, моя радость!

Моти Гудж вскинул его к себе на спину, и оба направились к месту расчистки, чтобы поискать пни, которые нужно было выкорчевать.

Плантатор был слишком удивлён для того, чтобы сильно рассердиться.

Город страшной ночи

Удушливая, влажная жара, нависшая над страной, словно мокрая простыня, лишала всякой надежды на сон. Цикады словно помогали жаре, а кричащие шакалы помогали им. Невозможно было спокойно сидеть в тёмном пустом доме, где раздавалось эхо. Поэтому в десять часов вечера я воткнул посередине сада мою трость и смотрел, в какую сторону она упадёт. Она указала как раз на залитую лунным светом дорогу в город Страшной Ночи. Звук падения трости испугал зайца. Он выбежал, хромя, из своей норы и перебежал на старое магометанское кладбище, где лишённые челюстей черепа и круглые берцовые кости, бессердечно обнажённые июльскими дождями, блестели, словно перламутр, на пропитанной дождями земле. Раскалённый воздух и тяжёлая земля выгнали наружу, в поисках прохлады, даже мертвецов. Заяц, хромя, продолжал бежать; с любопытством понюхал он осколок закопчённого лампового стекла и исчез в тени тамарисковой рощицы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.